

МЕЛЬНИЦА НА СУХОЙ РЕКЕ



НИКА ФРОСТ

Ника Фрост

Мельница на сухой реке

«Тайниковский»

2026

Фрост Н.

Мельница на сухой реке / Н. Фрост — «Тайниковский», 2026

Сорок лет назад реку увели каналом, и мельница в деревне Мельгуны осталась стоять на сухом. Только колесо у неё по ночам крутится над растрескавшейся глиной, и слышно, как в ларь сыплется мука. Последний житель, восьмидесятичетырёхлетний Тихон Мелентьев, дважды в неделю носит туда мешок ржи. Он делает это сорок лет и никому не объясняет зачем. А срок между кормлениями всё сжимается: был год, стал месяц, теперь неделя. В Мельгуны приезжают четверо с ютуб-канала про заброшки — за звуком работающей мельницы. И отдельно от них фольклористка Вера Плахина, у которой здесь родилась бабка и которая ещё не знает, что означает её фамилия в этой деревне.

© Фрост Н., 2026

© Тайниковский, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Постав	9
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Ника Фрост

Мельница на сухой реке

Пролог

Деревня Мельгуны стоит в Ушынском районе, на реке Вьюне. На картах её печатали последний раз в восемьдесят девятом. Мелким шрифтом, в скобках, с пометкой «нежил.».

Название объясняют по-разному. Приезжие думают, что от мельницы, и ошибаются. Деревня старше мельницы лет на сорок. Местные, пока они тут были, говорили другое. Будто первого поселенца звали Мельгун. Был он не то беглый, не то ссыльный. Пришёл с верховьев, о себе не рассказал ничего, за то и прозвали. В сельсоветских бумагах никакого Мельгуна, правда, нет. Есть Мелентьевы — семь дворов из двадцати одного. И все друг другу родня через две-три ступени. В глухих местах всегда так. Фамилий мало, людей много, и приходится помнить, кто кому кем доводится, до седьмого колена.

Река Вьюна имя своё заслужила. Она вилась. На десять вёрст по прямой приходилось тридцать по руслу. Вода всё лето стояла низкая, тёплая, цвета крепкого чая. А в половодье поднималась так, что заливала огороды по крыльцо и уносила бани. Рыба водилась мелкая и костистая. Зато шуки попадались такие, что их вешали в амбаре сушиться, как поленья. Берега были глинистые, оползневые. Обвалится кусок — и вылезет что-нибудь нехорошее. То звериная кость, то обломок лодки. А однажды, ещё до войны, вылезла целиком сидящая женщина в берестяном коробе. Её долго не решались трогать. Ждали, пока приедет кто-то из города с фотоаппаратом.

Мельницу поставил Гордей Мелентьев в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году. И поставил с третьего раза.

Первую снесло на вторую же весну. Вместе с плотиной и со всем, что на ней было. Вторую Гордей рубил основательнее. Лиственницу возил за двенадцать вёрст, плотину крепил сваями в три ряда. И вторую тоже снесло. Только уже не весной. Среди лета, в тихую воду, безо всякой причины. Ночью что-то ухнуло, а наутро на месте постава лежала груда мокрого леса. Один жёрнов нашли в полуверсте ниже, вбитым в берег ребром. Гордей был мужик упрямый и не бедный. Но после второго раза сел на завалинку и просидел до темноты. А назавтра запряг и уехал в верховья.

Кого он там нашёл, толком не знает никто. Говорили про старика при солеварне выше Красного Яра. Будто старик этот сам ехать отказался и объяснил на словах, что и как делать. Условие его в Мельгунах пересказывали шёпотом и с оговорками. Но суть была одна. Место под мельницей не пустое. Пока ему не заплатят, ничего тут стоять не будет. Платить надо живым, и скотиной не отделаешься: скотину, сказал старик, вы уже пробовали, вон что вышло. Живое должно быть человечье, малое и молчащее. Чтобы не звало, не жаловалось и не просило обратно.

Девочку звали Улькой. Своей родни у неё не было. То есть была, да вся сгорела в девятом дворе за год до того. Улю выкинули в окно, и она уцелела. Только с того дня перестала говорить. Врачей поблизости не водилось. Деревенские рассудили, что это с испугу и, может, ещё пройдёт.

Не прошло.

Взяла её к себе Матрёна Плахина, вдова, у которой своих было четверо. Держала полтора года и, судя по всему, не обижала. Соседки помнили, что Улька ходила в справной кофте и что Матрёна её вычёсывала. А осенью восемьдесят седьмого Матрёна отдала девочку Гордею.

За что отдала, рассказывают разное. Одни говорят — за телка. Другие — что деньгами. Третьи — что вовсе ни за что, а просто мир так решил, и Матрёна спорить не стала. Улька, говорят, шла с Гордеем за руку и не упиралась.

Что было дальше, не рассказывал никто и никогда. Тут мельгуновские старухи замолкали намертво. Известно только, что клали ночью, на убылой луне. Что были при этом Гордей, двое его братьев и кузнец Афанасий. И что кузнец после сильно запил, а через полгода утонул в Вьюне на ровном месте, в воде по пояс.

Ещё известно, что нижний камень везли отдельно от верхнего. И что под нижний подвели не свайный сруб, как ставят везде, а глухой короб из плах. Вот этот короб потом и стали называть ларем. Хотя ларь на мельнице совсем другой, ларь — куда мука сыплется. Путаница эта в Мельгунах жила сто с лишним лет. И путали её нарочно.

Третья мельница пошла и стояла. Стояла, надо сказать, замечательно. Молола мелко и ровно, зимой не прихватывало, плотину в половодье не рвало. Мельгуны зажили сытнее всех вокруг. К ним возили молоть за сорок вёрст, и Гордей к девятисотому году держал уже две лавки в Устье.

Но с мельницей пришло и правило.

Соблюдали его все, включая тех, кто в него не верил. В ночь на Симеона, первого сентября по старому счёту, мельницу пускали вхолостую и мололи один мешок ржи. Муку эту в дело не пускали. Не ели и скотине не отдавали. Сыпали обратно, в яму под сливом, где вода стояла чёрная. Мешок нёс один человек. И человек этот всегда был из Мелентьевых.

Порядок был такой. Прийти затемно. Пустить воду. Засыпать зерно. А самому сесть на порог снаружи и сидеть, пока постав не отработает. Внутрь не заходить. В ларь не заглядывать. Мешки не считать — их и всего-то один, да только начнёшь считать и собьёшься, и вот тогда будет плохо.

Почему нельзя смотреть в ларь, не объяснял никто. На прямой вопрос отвечали, что нечего там смотреть, мука как мука. Внятно проговаривали одно — про руки. Возьмут тебя изнутри за руку — руку отдай. Не вырывайся и не кричи. Говорили, что отдавать придётся недолго.

В тысяча девятьсот двенадцатом году работник по имени Семён взял из ларя с полпуда. Был он приезжий, нанятый на сезон, и, стало быть, ничего не знал. Взял, судя по всему, без злого умысла. По обычному работническому соображению: хозяин богатый, мука лишняя, а у самого в Устье жена и дети.

Испекли дома два каравай. Жена потом говорила, что хлеб вышел хороший, белее обычного. Съели его в три дня всей семьёй, и ничего ни с кем не сделалось. А Семён на четвёртый день не проснулся.

Нашли его во дворе, хотя лёг он в избе. Лежал лицом вниз. Сперва подумали на сердце. Потом фельдшер, человек в Устье уважаемый и непьющий, разжал ему челюсти и вытащил изо рта комок муки величиной с кулак. Комок был плотный и сухой, от слюны не размок, будто его туда вбили колотушкой. Фельдшер завернул его в бумагу и повёз в город. По дороге бумага оказалась пустая. Он про это никому не сказал. Рассказала через много лет его дочь.

И ещё одно. От крыльца до того места, где лежал Семён, по утопанной земле шли белые следы босых ног. Детские, размера на девятилетнюю. И шли они в обе стороны, туда и обратно.

С мельницей после этого ничего не случилось. Она работала дальше. А через двадцать с лишним лет к ней подступились с другой стороны.

В тридцать четвёртом Мелентьевых раскулачили — не всех, а тех, кто не успел записаться в колхоз. Мельницу отобрали, и это никого особенно не удивило. А в тридцать седьмом уполномоченный из района по фамилии Кубышкин распорядился старый постав разобрать. Лес пустить на коровник, а на этом месте поставить электрическую. Распоряжение было разумное. Старая мельница к тому времени молола только для деревни, а коровник был нужен.

Разбирать начали в июне и бросили в июле. Кубышкин к тому времени отбыл в район с забинтованной кистью и в Мельгуны больше не ездил. В объяснительной он написал, что повредил руку при осмотре механизма, и спорить с этим не стали.

Из четверых мужиков, снимавших крышу, до сентября дожили двое. Первый утонул в яме под сливом. В той самой, куда сто лет ссыпали муку, и глубины там было по грудь. Второго задавило плахой, когда вскрывали короб под нижним камнем. Плаху эту, говорят, потом положили на место и больше не трогали. В районной сводке оба случая прошли как производственный травматизм. Формально это была чистая правда.

Электрическую мельницу всё-таки построили. Только не на месте старой, а двумястами метрами ниже. Старую больше не трогали. Она осталась стоять — сперва как склад, потом как ничей сарай, потом просто стоять.

Мелентьевы при ней тоже остались. Вслух об этом не говорили. Но в ночь на четырнадцатое сентября кто-нибудь из них обязательно уходил к реке с мешком. Колхозное начальство за полвека сменилось раз восемь, и ни разу никто не помешал. Начальство было своё, деревенское, и знало, что почём.

Вьюну убили в восемьдесят четвёртом. Убили не со зла, а по проекту.

Выше Красного Яра строили Вьюнский горно-обоганительный. Ему требовалась вода, и воду увели отводным каналом — сорок с лишним километров бетонного лотка, мимо всего этого. Ниже забора Вьюна за три года превратилась в цепочку стариц. Где по колено, где сухая глина в трещинах. В самих Мельгунах осталось болотце в старом омуте да ручей, который к июлю пересыхал.

Плотину размыло за одну весну: держать ей стало нечего. Колесо встало.

В деревне это приняли спокойно и даже с облегчением. Воды нет — значит, и молоть нечем. Значит, всё кончилось само, без чьей-либо вины.

Оно не кончилось.

Первым услышал Илья Мелентьев, отец нынешнего Тихона. В сентябре того же восьмидесяти четвёртого. И услышал он ровно то, что слышал всю жизнь: ровный тяжёлый гул поставы и шорох, с каким мука идёт в ларь.

Он вышел и дошёл до мельницы. Колесо крутилось. Воды под ним не было никакой — сухая глина, трещины, прошлогодний лист. Илья вернулся домой, сел и до утра не ложился. А утром взял мешок ржи и отнёс, хотя до Симеона оставалось ещё две недели.

С тех пор Мелентьевы носили не раз в год, а чаще. Насколько чаще, считали только они сами.

Деревня разъехалась в девяносто первом и девяносто втором, за две зимы. Причины были обыкновенные, как везде. Закрылся коровник. Закрылась школа в Сухой Гари. Автолавка перестала ходить, потому что гать через болото никто больше не чинил. Молодые уехали в Ушье и в город, старики доживали. К двухтысячному в Мельгунах жили четверо. К десятому — один. Этот один живёт там и сейчас.

Остальные дворы стоят. Крыши просели не у всех. Пойдёшь вечером по улице — и кажется, что в двух-трёх избах кто-то есть. Это неправда. Это просто стёкла ещё целые.

Приезжие начали появляться в конце девяностых.

Сперва металлисты. Резали и вывозили всё, до чего доставали, включая рельсы узкоколейки, которую клали тут при Хрущёве. Потом рыбаки. Эти ехали на карьерные озёра за Сухой Гарью, а в Мельгунах вставали на ночь, потому что удобно. А году с двенадцатого пошли те, кто снимает заброшенное на камеру.

Этих оказалось больше всех. И ездили они уже не случайно. Кто-то выложил в сеть сорок секунд со звуком работающей поставы, и видео набрало столько, сколько Мельгуны не собирали за всю свою историю.

По Ушынскому райотделу за двадцать лет проходит одиннадцать заявлений о безвестном исчезновении. Семь закрыты: люди нашлись. Вышли к карьерам, вышли на Сухую Гарь, один добрался пешком до Красного Яра и ничего внятного объяснить не смог.

Четыре не закрыты. Тела не найдены ни в одном случае, и это само по себе странно. Местность открытая, болота начинаются только за гатью, а в старицах утонуть трудно даже пьяному. Официально считается, что все четверо ушли к комбинатским карьерам, где есть затопленные выработки глубиной до сорока метров. Водолазов туда посылали дважды.

Дважды же в протоколах осмотра появляется одна и та же формулировка. В две тысячи пятом и в две тысячи шестнадцатом, и писали её разные люди, друг с другом не знакомые. Речь о следах белого порошкообразного вещества на полу мельницы, имеющих форму отпечатков босой стопы длиной двадцать один сантиметр.

В шестнадцатом вещество отправили на исследование. Заключение пришло скучное: мука ржаная обойная, влажность в норме, посторонних включений нет. Эксперт от себя приписал, что при таких условиях хранения мука должна была за неделю отсыреть и слежаться. А она не слежалась. И что это, вероятно, объясняется ошибкой при отборе образца. Больше к вопросу не возвращались.

А Тихону Ильичу Мелентьеву, последнему жителю, тому самому, кто сорок лет назад слышал вместе с отцом сухой постав, этой весной сравнялось восемьдесят четыре. Ровно столько же прошло от Гордея до канала. Он эту арифметику однажды при свидетелях вслух проделал.

Ходит он ещё сам, только тяжело. Мешок возит на тележке от детской коляски: плечо больше не держит. Пенсию привозят раз в два месяца на комбинатском вездеходе, и водитель всегда ждёт у калитки и всегда торопится. В Сухой Гари Тихона Ильича называют по-разному, чаще всего — Постав. Когда его так называют, он не поправляет.

Этим летом к нему приехали.

Глава 1. Постав

Ночью постав шёл полтора часа, и это было не по сроку.

Тихон Ильич лежал на спине и слушал. Звук приходил снизу, от реки. Был он такой, каким был всегда: ровный тяжёлый гул, точно под избой в земле перекатывали бревно. А поверх гула — сухой шелест с оттяжкой. Так шумит мука, когда идёт в ларь. Такого ни с чем не спутаешь, если слушал его семьдесят лет подряд.

Он дождался, пока стихнет. Полежал ещё. Потом сел, спустил ноги в валенки с обрезанными голенищами — он носил их и летом, потому что по полу тянуло, — и начал считать.

Считал на пальцах, медленно, как считают старики. Не оттого, что забыл счёт, а оттого, что боялся ошибиться. Кормлено было на Ильин день, второго августа. Не по правилу, да пришлось. Потом двенадцатого. Потом двадцатого. Нынче двадцать седьмое.

Выходило, что постав пошёл сам на седьмой день.

Такого за всю его жизнь не бывало. Сперва раз в год, на Симеона. После канала — раз в месяц. Потом раз в две недели, потом в десять дней, и он к этому притерпелся, как терпят больную ногу. А теперь семь.

В сенях он поднял каждый мешок за угол. Знал ведь, что их четыре, и всё равно поднял, чтобы почувствовать вес. Три полных и один початый. При нынешнем счёте хватит до середины октября. Дальше надо везти из Сухой Гари. А везти не на чем и некому: вездеход придёт в конце сентября с пенсией, и Ромка, водитель, за ворота не заходит. Спросишь его о чём — отвечает так, будто у него уже мотор заведён.

За дверью было светло и жарко, хотя солнце едва поднялось над лесом. Лето стояло сухое, тридцатое такое подряд, как считали в Устье. Трава в Мельгунах выгорела до цвета верёвки.

Улица тянулась двумя рядами, двадцать один двор. Тут никогда ничего не разбирали и не жгли — просто уходили и оставляли. Тихон Ильич шёл и по привычке отмечал, чьё где. Кобылины, Кобылины, Шадрины, пусто, Мелентьевы, Мелентьевы, опять Шадрины.

Он помнил всех до одного, и это было хуже всего. Мёртвая деревня тем и тяжела, что для того, кто в ней остался, она никакая не мёртвая, а полная народу, и народ этот стоит по дворам и молчит.

Русло Вьюны начиналось сразу за огородами. Оно было похоже на след от чего-то тяжёлого, что тут долго волокли, а после убрали совсем. Глина, растрескавшаяся на плиты в ладонь. Ивняк, растущий уже по самому дну. Ржавые обручи от бочек, полозья, кости. Кости вылезали каждый год, коровьи, лосиные и всякие прочие, и смотреть на них он давно перестал.

Вода осталась только в омуте под мельницей. Чёрная яма метров восьми поперёк. Сто лет туда ссыпали муку, и в тридцать седьмом в ней утоп мужик по фамилии Согрин, хотя глубины было по грудь.

Мельница стояла на правом берегу, врезанная в откос. Стояла хорошо. Лиственничные венцы почернели до угольного, но ни один угол не тронулся. Крыша просела только над прирубом, да и то потому, что в девяносто шестом на неё повалилась берёза. Колесо было на месте — восьмиметровое, наливное, с двумя выбитыми лопастями. Под ним не было ничего. Ни воды, ни лотка, ни плотины. Всё это размыло за одну весну восемьдесят пятого. Теперь там лежала сухая глина в трещинах, прошлогодний лист и дохлый ёж.

Тихон Ильич обошёл мельницу кругом, как обходил всегда, и стал у порога.

След был свежий.

Он лежал на второй ступеньке. Белый отпечаток босой ступни, узкой, с плотно сжатыми пальцами. Длинной примерно в его ладонь с запястьем. Мука не осыпалась и не смазалась, хотя ночью тянул ветер, и лежала так, точно её напечатали и придавили сверху ладонью.

Тихон Ильич постоял над ней. Потом наступил и повозил подошвой, пока не осталось серое пятно.

В нынешнем августе это было четвёртый раз.

«Наружу ходишь, — подумал он без всякого выражения, как о соседке. — Ну ходи».

В ларь он не заглянул. Он не заглядывал в ларь с пятьдесят второго года. Тогда отец взял его на кормление первый раз и сказал всего одно, и сказал негромко: возьмут за руку — руку отдай. Тихон спросил, надолго ли. Отец ответил, что ненадолго. Больше они об этом не говорили ни разу за тридцать лет, и другого наставления он не получил.

Обратно он шёл медленно, потому что вверх по откосу стало тяжело. На середине подъёма из-за деревни донёлся гул мотора.

Мотор надрывался долго, с перерывами. По звуку было ясно, что машина села. Сидит она, скорее всего, на гати, у третьего съезда, где позапрошлой весной провалило настил. Чинить, понятно, никто не стал. Потом мотор заглох совсем, и настала тишина, а через полчаса в конце улицы показались люди.

Тихон Ильич к тому времени успел дойти до дому, снять со стены ружьё и сесть на крыльцо с ружьём на коленях. Стрелять он не собирался. С ружьём его меньше трогали руками, а руками приезжие трогать любили. То за плечо возьмут, то приобнимут, то потащат в кадр.

Их было четверо. Шли цепочкой, и слышно их было задолго.

— Она села на мост, я тебе говорю. На мост! Я слышал, как хрустнуло.

— Хрустнуло у тебя в голове. Вытащим за час лебёдкой. Барсук, скажи ему.

— Лебёдкой вытащим, — сказал четвёртый, с металлоискателем через плечо. — Только дерево там гнилое и цеплять не за что. Вот в чём беда.

Третьей шла женщина в широкой белой рубашке. Она держала телефон перед собой на вытянутой руке и говорила в него на ходу:

— Ребята, мы в Мельгунах, это реально глухота. Тут вообще ничего нет. Тут даже связи нет, я на диктофон пишу.

Тихон Ильич смотрел, как они подходят, и по обыкновению прикидывал, кто из них первый. Он это делал всегда и редко ошибался, потому что способ был нехитрый: первым идёт тот, кто громче всех говорит, что ничего не боится.

Сейчас выходило, что тот, который Гера. Высокий, с короткой седоватой бородкой, в чистой городской одежде, какую в лесу пачкают за час. Он один шёл без груза.

— Здравствуйте, отец! — крикнул Гера ещё шагов за двадцать. — А мы думали, тут пусто. Вы нам прямо подарок!

— Здравствуйте, люди добрые, — сказал Тихон Ильич, как учили.

— Мелентьев, я правильно помню? — Гера стал у нижней ступеньки и почему-то не подал руки, хотя явно собирался. — Про вас в интернете есть. Вы у нас, можно сказать, легенда.

— В интернете я не был, врать не буду.

Толстый уже поднял свою коробку и наводил её на крыльцо. Тихон Ильич увидел красный огонёк.

— Погоди-ка снимать. Я разрешения не давал.

— Да мы аккуратно, отец. Лицо размоем.

— Убери.

Огонёк погас, и толстый опустил камеру на живот. А женщина за его спиной телефон не опустила. Тихон Ильич это видел и говорить второй раз не стал.

— Мы с канала «Тёмный угол», — сказал Гера с той лёгкостью, с какой люди называют то, чем гордятся. — Триста двадцать тысяч подписчиков. Ездим по заброшкам, снимаем, ничего не ломаем, мусор за собой вывозим. Нам бы тут пару ночей постоять.

— Стойте. Изб полно. Выбирайте любую, где крыша цела.

Он сказал это и сразу почувствовал в груди слева знакомую тяжесть. Она приходила всякий раз, как он произносил эти слова. Говорил он их лет тридцать и знал, что неправда тут не в словах, а в том, что молчит рядом со словами.

Иначе было нельзя. Скажешь — не поверят. А поверят — так побегут, и побегут ночью, и вот тогда уж точно всё. Проверено дважды, оба раза в девяностые. После второго раза он полгода не спал.

— А за постой сколько, отец? — спросил тот, что с металлоискателем, сгружая его с плеча. — Мы заплатим, у нас с этим нормально.

— Не надо мне.

— Ну хоть продуктов? Тушёнка есть, сгущёнка есть.

— Крупы если, — подумав, сказал Тихон Ильич. — Крупы возьму. И спичек, коли лишние.

Пока Барсук копался в рюкзаке, Гера прошёлся вдоль палисадника, оглядел избу, потом задрал голову. Смотрел он за огороды, туда, где за ивняком темнела крыша мельницы. Смотрел долго. Тихон Ильич по этому взгляду понял всё, что нужно было понять.

— Она, да? — спросил Гера, не оборачиваясь. — Та самая, где звук?

— Мельница как мельница.

— Тихон Ильич, — Гера всё-таки обернулся, и в лице у него появилось что-то серьёзное и, пожалуй, честное. — Я вам прямо скажу, зачем мы приехали, чтоб мы друг друга за нос не водили. Есть ролик, четырнадцатый год, сорок секунд. Снят вот с этого примерно места. На нём слышно, как работает мельница. Звук настоящий, его на студии проверяли, это не монтаж. Мы хотим записать его нормально, на хорошую аппаратуру. И всё.

— Полезете.

— Не полезем, честное слово.

— Ночью на мельницу не ходите, — сказал Тихон Ильич отдельно, глядя ему в переносицу. В глаза он людям давно не смотрел, и причины у него были свои. — Днём ходите сколько хотите. Снимайте, лазайте. А как стемнеет — не ходите. И ещё: что бы вы там ни нашли, из мельницы не выносите. Ни доски, ни гвоздя. И муки, если увидите, руками не трогайте.

Стало тихо. Женщина с телефоном подошла ближе и присела на корточки сбоку, держа телефон низко, от земли.

— Какой муки? Там что, мука есть? Она же с восемьдесят четвёртого стоит.

— Жанна.

— Я только уточняю.

Тихон Ильич поглядел на неё. На белую рубашку, на телефон, на голые щиколотки в кроссовках. И ничего не ответил. Он давно заметил, что таким лучше не отвечать. Любой ответ они принимают за начало разговора, а никакого разговора он вести не собирался.

Пятая пришла отдельно, часа через полтора. Те четверо уже выбрали себе избу — пятую от края, Шадриных, с целыми стёклами, — и оттуда доносился стук и смех.

Тихон Ильич сидел на том же крыльце и чистил картошку в ведро, когда увидел её в конце улицы. Она шла с большим рюкзаком, который был ей велик и сидел высоко на затылке, однако шла легко и ни разу не остановилась передохнуть. И первое, что он про неё подумал: эта не с ними.

Разница была видна по походке. Те четверо шли по чужому, эта же шла по своему: смотрела по сторонам, на дворы, и вперёд почти не глядела. У третьего дома остановилась и посто-яла.

Она подошла, сняла рюкзак и поставила его на землю, прежде чем заговорить.

— Здравствуйте. Я вам помешаю?

— Сиди, коли пришла.

— Меня зовут Вера. Я из университета, с кафедры фольклора, у меня экспедиционное направление, могу показать бумагу. — Говорила она быстро, но не тараторила. Так говорят люди, привыкшие, что их перебивают. — Мне в Сухой Гари сказали, что в Мельгунах живёт один человек и что он вряд ли станет со мной разговаривать.

— Правильно сказали.

— Я так и думала, — она села прямо на траву у крыльца, подобрав под себя ноги.

Это его неожиданно расположило. Приезжие всегда либо стояли над ним, либо лезли рядом на ступеньку.

— Я тогда скажу, зачем я здесь. Скажете уходить — уйду. Меня интересует не мельница.

— А что тебя интересует?

— Люди. Мельгуновские. Кто уехал и куда. У меня тут бабушка родилась. Я её почти не помню, она умерла, когда мне было четыре года.

Тихон Ильич положил нож на ступеньку и вытер руки о штаны.

— Как звали?

— Нина. Нина Егоровна, тридцать восьмого года, — Вера расстегнула боковой карман рюкзака и достала плотный конверт. — Она уехала отсюда в пятьдесят четвёртом, ей было шестнадцать. Вот, я нашла в архиве справку из сельсовета.

Она протянула ему сложенный вчетверо лист. Тихон Ильич взял его двумя пальцами, развернул и отвёл подальше от глаз: очки лежали в избе.

Бумага была та самая, серая, с фиолетовым штампом. Таких он за жизнь видел сотни. Он прочёл две строки, дошёл до фамилии и остановился.

Плахина.

Он держал справку и смотрел в неё дольше, чем нужно, чтобы прочесть. Под рёбрами слева начало разворачиваться то самое, тугое.

К тому времени, как он родился, Плахиных в Мельгунах не осталось ни одного, ни по мужской линии, ни по женской. Фамилию эту он знал не от соседей и не из бумаг. Он знал её из единственного разговора с бабкой Дарьей, на девятом году жизни. Бабка закончила тот разговор тем, что взяла его за подбородок жёсткими пальцами и велела не пересказывать.

Она рассказала ему, кто отдал девку под камень. И как отдал. И что за это получил. И назвала фамилию. Фамилия была Плахина, Матрёна.

А потом добавила то, что он с тех пор носил в себе, как носят осколок. Долг-то не на Мелентьевых, Тиша. Мелентьевы только кормят. Долг на тех, кто отдал.

— Что-то не так с бумагой? — спросила Вера.

— Бумага хорошая, — он сложил её и вернул. — Плахины тут были, верно. Давно.

— Вы их помните?

— Я их не застал. Мне про них говорили, — он поднял ведро с картошкой и поставил себе на колени, чтобы занять руки. — Ты у них одна осталась? По этой линии?

Вера ответила не сразу, и он отметил, что не сразу.

— Одна. У бабушки была сестра, но она умерла в детстве, ещё здесь. И у мамы ни братьев, ни сестёр. И у меня.

— А дети у тебя есть?

— Нет, — она посмотрела на него снизу вверх, склонив голову. — Это важно?

— Не важно. Так спросил.

Он врал, и врал плохо. По её лицу он увидел, что она заметила. Но дальше она спрашивать не стала. Вместо этого достала из кармана маленький чёрный диктофон и положила его на ступеньку рядом с ножом, экраном вверх, не включая.

— Я всегда предупреждаю. Разрешите — запишу. Не разрешите — уберу и не буду. Я не снимаю исподтишка.

Тихон Ильич поглядел на диктофон. Потом на неё.

— Убери. Пока убери.

Она ушла ставить палатку и поставила её на выгоне за околицей, метрах в двухстах от крайнего двора. Тихон Ильич поглядел на это и подумал, что девка не дура и что это ей не поможет.

Остаток дня был обычный. От Шадриных весь вечер слышался стук: они сколачивали себе стол из горбыля и, судя по звукам, сколотили. Барсук прошёл с металлоискателем вдоль всей улицы, потом свернул к реке. Тихон Ильич следил за ним от крыльца, пока тот не скрылся за ивняком. На мельницу Барсук не пошёл, свернул выше и долго ковырял землю у бывшей кузницы. Это было ничего. Там можно.

Барсук пришёл к нему сам, часу в седьмом, и пришёл без прибора.

— Можно спросить?

— Спрашивай.

— Кузница у вас где стояла? — он вытер лоб рукавом. — Я по фундаментам хожу, а тут фундаментов много и все одинаковые. Не хочу зря копать.

Тихон Ильич отставил ведро с картошкой. Спрашивал парень по-хорошему, не хитря, и оттого отвечать было хуже.

— На отшибе кузницу ставили. Всегда на отшибе, чтоб изба от искры не занялась. Вон туда иди, за крайний двор, к руслу. Найдёшь: там камень дикий в четыре угла и крапива в рост.

— Ага. — Барсук поглядел в ту сторону. — А железа много было?

— Железа в кузнице всегда много.

— Это да. Это я знаю.

Он потоптался ещё, и Тихон Ильич понял, что главного парень не спросил.

— Ну?

— Копать можно?

— Нельзя.

Барсук посмотрел на него без обиды, но и без готовности слушаться. Так смотрят, когда прикидывают, всерьёз человек говорит или для порядка.

— Я же не варвар. Я по верху хожу, на штык. Что вытащу, потом обратно закопаю или в музей отдам, у меня в Устье знакомый в краеведческом.

— Нельзя, — сказал Тихон Ильич. — Хочешь по верху ходи, прибором своим щупай, звени. А лопату в землю не суй.

— Почему?

Вот этого вопроса он и ждал. Правду сказать было нельзя, а врать этому парню отчего-то не хотелось, потому что из них четверых он был единственный работающий.

— Потому что тут не всякую землю копают, — сказал он наконец. — Есть земля, где лежит.

— Кладбище, что ли? — Барсук нахмурился. — Так кладбище за гатью, мне в Сухой Гари говорили.

— Кладбище за гатью.

— А тут кто лежит?

— А тут те, кого на кладбище не повезли.

Барсук долго молчал. Потом сел на корточки у крыльца, сорвал травинку и стал её мять.

— Самоубийцы? — спросил он тише. — У нас в Прикамье тоже так хоронили, я читал. За оградой, без креста.

— Всекие.

— Много?

— Одна.

Тихон Ильич сказал это и сразу пожалел, потому что по лицу парня увидел: теперь тот пойдёт обязательно. Раньше ему была любопытна кузница, а теперь — что под кузницей. Так

всегда и выходит, когда запрещаешь с объяснением: запрет пропускают мимо ушей, а объяснение запоминают намертво.

— А имя у неё есть?

— Иди ужинать, — сказал Тихон Ильич. — Вон тебя зовут.

От Шадриных и вправду кричали: стол дособирали и требовали Барсука хвалиться. Тот поднялся, отряхнул колени и пошёл. На полпути обернулся.

— А я всё равно схожу гляну. Только копать не буду, честно.

К восьми жара отпустила, и над сухим руслом встала мошка. Плотным столбом, как дым. В восемь Тихон Ильич затопил печь, хотя на улице было тепло: ему нужны были угли. В половине девятого вытащил в сени тележку от детской коляски и проверил, не спустило ли левое колесо. В девять сходил в огород, вырвал десяток луковиц, сложил в таз и оставил на столе. Не зачем-нибудь, а потому что руки просили работы, а работы не было. Это было самое тяжёлое время суток.

В десять он сел на лавку у окна и стал ждать темноты.

Ждал он без страха, и это была чистая правда, только правда неприятная. Страх у него кончился давно, году в девяносто восьмом. Вместо страха осталась тошная привычка, вроде той, что бывает у человека, который сорок лет ходит на нелюбимую работу.

Он не боялся того, что живёт под нижним камнем. Он боялся другого. Что однажды не сможет дойти. Что нога не пустит, или сердце, или просто уснёт и не услышит. И тогда постав пойдёт вхолостую. А холостого он не терпит и берёт сам.

В половине двенадцатого Тихон Ильич взял мешок, поставил его на тележку и вышел.

Идти было четыреста метров, из них полтора вни́з по откосу. Вни́з он спускался боком, придерживая тележку, чтоб не покати́лась. Ночь стояла светлая, безлунная, с тем августовским небом, по которому тянет белым. За спиной у Шадриных горело окно, и оттуда долетало не то музыка, не то голоса. Это его сейчас не касалось.

У мельницы пахло сухой глиной и высохшей травой.

Он поставил тележку под стеной и взвалил мешок на плечо. Взвалил с третьей попытки: плечо перестало брать вес ещё зимой. Втащил на порог. Дверь открылась без скрипа — он смазывал петли солидолом два раза в год.

Внутри было темно и сухо, и светить фонарём он не стал. Прошёл шесть шагов по памяти, нащупал бортик засыпного короба, развязал горловину и высыпал рожь. Рожь пошла с тем густым шорохом, от которого у него за всю жизнь осталось единственное похожее на уют чувство, и он подождал, пока шорох кончится. Потом свернул пустой мешок, сунул под мышку, вышел и сел на порог спиной к двери.

И стал ждать, и ждать пришлось недолго, минуты три. Сперва в глубине что-то сдвинулось, коротко, по-деревянному, точно кто-то поправил доску. Потом пошёл вал. Гул начался снизу, из-под самого пола, набрал за несколько секунд полную силу и встал на одной ноте, и держал её, не качаясь. Вместе с ним снаружи, над сухим руслом, тяжело провернулось колесо.

Тихон Ильич не оборачивался. Он знал, как оно выглядит: восемь метров черноты, идущей кругом, и с лопастей ничего не течёт, потому что течь нечему.

Потом пошла мука. Он услышал её справа и сзади, в ларе, — тот самый сыпучий звук с оттяжкой.

Он сидел, положив руки на колени ладонями вниз, и смотрел перед собой, на ивняк.

Через минуту в ларе стукнули, и стук шёл изнутри, снизу вверх, в самую крышку, и повторился трижды. Не сильный. Так стучит ребёнок, который стоит за дверью и не достаёт до ручки.

Тихон Ильич не шевельнулся, только почувствовал, как у него немеют губы, точно их прихватило морозом.

За семьдесят два года она не стучала ни разу.

Постав шёл ещё сорок минут. Все сорок минут он просидел на пороге, не оборачиваясь, и больше не стучало.

Потом гул начал спадать, а когда спал совсем, стало слышно, как в лесу за рекой кричит какая-то птица. Тихон Ильич поднялся, держась за косяк: ноги затекли. Постоял, приходя в себя. Он собирался взять тележку и уйти, и он бы ушёл. Да глаза уже привыкли к темноте, и он опустил их себе под ноги.

На ступеньках лежал след, тот самый, узкий, с поджатыми пальцами, и был он не один. Их было много, и уходили они от порога вниз, на глину, и дальше по сухому руслу.

Тихон Ильич пошёл по ним. Ничего другого сделать он не мог.

Белые отпечатки лежали на глине ровной цепочкой, шаг в шаг, по линейке. Они пересекли русло и поднялись по откосу. И там, наверху, на утопанной тропе, он увидел вторые.

Вторые были больше. Взрослая нога, тоже босая, узкая в пятке. Шли они рядом с первыми, вплотную, справа. В одном месте маленькая ступня наступила на большую, в другом большая на маленькую. И было видно, как они шли.

За руку.

Тихон Ильич стоял и смотрел на это, и ему сделалось холодно в самую жару.

Он пошёл по следу дальше. След вышел на улицу, пересёк её наискось, обогнул палисадник Кобылиных. И повёл прямо, мимо двух дворов, к пятой избе от края. К той самой, где у Шадриных ещё горел фонарь, где кто-то негромко смеялся и звякало стекло.

У калитки следы обрывались, и обрывались оба разом, на одном шагу, как обрывается строчка, когда в машинке кончается нитка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.